Константин Леонтьев
Семь столпов византийской мудрости



13 (25) января 1831 года в имении Кудиново Мещевского уезда Калужской губернии родился Константин Николаевич Леонтьев. Писатель, дипломат, скандальный эстет и суровый монах, великий русский политический философ-консерватор, один из крупнейших творцов русской идеи.

«1. Государство должно быть пёстро, сложно, крепко, сословно, с осторожностью подвижно. Вообще сурово, иногда до свирепости.

2. Церковь должна быть независимей нынешней. Иерархия должна быть смелее, властнее, сосредоточеннее. Церковь должна смягчать государственность, а не наоборот.

3. Быт должен быть поэтичен, разнообразен в национальном, обособленном от Запада, единстве.

4. Законы, принципы власти должны быть строже, люди стараться быть лично добрее; одно уравновесит другое.

5. Наука должна развиваться в духе глубокого презрения к своей пользе» – так выражал свой общественный идеал Константин Николаевич на склоне жизни. Однако до этих формулировок ему пришлось пройти немалый путь.

Воспитанный своей матерью Феодосией Петровной в христианской вере и преклонении перед русской монархией, молодой Леонтьев, подобно сотням образованных молодых людей тогдашней России, утерял как то, так и другое. Умственная спесь, поиск эстетических переживаний и чувственных наслаждений забили в нём и живую веру в Бога и русский государственный принцип. Хотя даже в пору самого яростного отчуждения от русской почвы Константин Николаевич «готов был удушить собственными руками того человека, который стал бы говорить что-нибудь против пасхальной заутрени в Московском Кремле».

Религию и монархию для него, студента медицинского факультета Московского Университета, заменяют хирургия и патологическая анатомия, краниология, френология и физиогномика. На протяжении всей своей жизни он остается крайним, порой до откровенного имморализма, эстетом, любящим роскошь, пышность и человеческую красоту.

Идя на первую встречу с И. Тургеневым, К. Леонтьев «ужасно боялся встретить человека, не годного в герои, некрасивого, скромного, небогатого, одним словом, жалкого труженика, которых вид и тогда уже прибавлял яду в мои внутренние язвы. Терпеть не мог я смолоду бесцветности, скуки и буржуазного плебейства, хотя и считал себя крайним демократом. Герои Тургенева были все такие скромные и жалкие… Я ужасно был рад, что он гораздо героичнее своих героев». Тургенев оказал помощь молодому литератору в первых публикациях – «он наставил и вознес меня; именно

вознес; меня нужно было тогда вознести, хотя бы только для того, чтобы поставить на ноги». Позднее писатель-западник и писатель-публицист (славянофил-реакционер) кардинально разойдутся.

Писательская слава к К.Н. Леонтьеву (1831–1891) так никогда и не пришла. Ему не повезло со временем – это был золотой век русской прозы и произведения Ф. Достоевского и Л. Толстого, И. Тургенева и И. Гончарова начисто затмили его тонкую, эстетскую, порой почти декадентскую манеру письма. Но однажды русская литература, а не одни политика с философией, найдет для него законное место.

Разочарованный молодой литератор отправляется на войну – в Крым (К. Леонтьев был причислен к Белевскому егерскому полку, а затем к госпиталям в Керчи и Еникале). «Я ужасно боялся, что при моей жизни не будет никакой большой и тяжёлой войны. И, на мое счастье, пришлось увидеть разом – и Крым и войну».

Война взбодрила его, а сказочный мир Тавриды произвел на душу эстета то действие, которое Крым непременно производит с душей каждого одаренного русского человека: «Так было сладко на душе… Страна вовсе новая, полудикая, живописная; холмы то зеленые, то печальные, на берегу широкого пролива; красивые армянские и греческие девушки. Встречи новые. Одинокие прогулки по скалам, по степи унылой, по набережной при полной луне зимой».

Вернувшись к столичной жизни, охваченной лихорадкой освободительных реформ, которые он поначалу приветствует, К. Леонтьев вскоре обнаруживает, что его восторженный юношеский либерализм улетучивается.

Национальный поворот в русском обществе в 1861–1863 годах был характерен для многих. И западники, и славянофилы, и министры, и литераторы были уверены, что снятие с крестьян крепостной зависимости, демонтаж жестких скреп «николаевской реакции» приведут к освобождению живых русских (славянофилы были уверены, что русских)

сил, к бурлению народной самодеятельности и самоорганизации. Вместо этого народ оказался растерян и дезориентирован тем, что был разрушен привычный порядок жизни, а высвободилось и зафонтанировало то, что оказалось ещё гнуснее взяточничества и бюрократии.

Сальноволосый нигилизм «базаровых», подогреваемый чернышевскими и герценами, и дошедший к 1862 года до эпидемии поджогов в Санкт-Петербурге; изменнический «патриотизм заграницы», характерный для либералов; наконец – польский мятеж, направленный на расчленение России и отторжение от неё не только Польши, но и Малороссии и Белоруссии. Ответом на это стал мощный консервативный поворот, возглавленный М.Н. Катковым и захвативший многих, от Аксакова до Достоевского. Однако ни у кого он в России не зашел дальше, чем у Леонтьева.

Эстетическое восприятие Леонтьева было оскорблено тем, что он увидел в пореформенном мире. Он с возмущением наблюдал за тем, как русского человека, ещё своеобразного и экзотичного в своих чертах (и добрых и дурных – это для Леонтьева было почти всё равно) превращают в «среднего европейца». Европа «решительно стремится к китайскому идеалу – сделать всех одинаковыми», – возмущается он.

«Европа идет к буржуазной безличности и к такому ужасающему однообразию, что… приходит в голову: дикие люди однообразны и тупы – но как волки; а будущие европейцы будут тоже однообразны и тупы – но как трудолюбивые и жирные бобры».

Позднее Константин Николаевич рассказывал Василию Розанову, что в те годы у него сформировалась «философская ненависть к формам и духу новейшей европейской жизни (Санкт-Петербург, литературная пошлость, железные дороги, пиджаки и цилиндры, рационализм и т.п.); а с другой – эстетическая и детская какая-то привязанность к внешним формам Православия».

Любопытно, что в Западной Европе, при этом, Константин Леонтьев, в отличие от славянофилов, Каткова, Достоевского, не бывал никогда, полагаясь в её оценке во многом на откровения «с того берега» эстета совсем иного, революционного склада, Александра Герцена, недовольного парижскими буржуа за то, что они оказались слишком мещанами и не дали сделать у себя социалистическую революцию. Революционер в данном случае настроил реакционера против европейской буржуазности.

Впрочем, Леонтьев не сразу и улавливает разницу между революцией и реакцией – его прельщает сперва любая эстетика: «Всё хорошо, что прекрасно и сильно, будь это святость, будь это разврат, будь это охранение, будь это революция – всё равно».

«Эстетика жизни (не искусства!.. Черт его возьми искусство – без жизни!..), поэзия действительности невозможна без того разнообразия – положений и чувств, которое развивается благодаря неравенству и борьбе… – признавался К. Леонтьев в статье «Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой». – Эстетика спасла во мне гражданственность… Раз я понял, что для боготворимой тогда мною поэзии жизни – необходимы почти все те общие формы и виды человеческого развития, к которым я в течение целых десяти лет моей первой молодости был равнодушен и иногда и недоброжелателен…

Я стал любить Монархию, полюбил войска и военных, стал и жалеть, и ценить дворянство, стал восхищаться статьями Каткова и Муравьёвым-Виленским; я поехал и сам на Восток с величайшей радостью – защищать даже и Православие, в котором, к стыду моему сознаюсь, я тогда ни бельмеса не понимал, а только любил его воображением и сердцем.

Государство, Монархию, “воинов” я понял раньше и оценил скорее; Церковь, Православие, “жрецов” – так сказать – я постиг и полюбил позднее; но всё-таки постиг; и они-то, эти благодетели мои, открыли мне простую и великую вещь, – что всякий может уверовать, если будет искренно, смиренно

и пламенно жаждать веры и просить у Бога о ниспослании её. И я молился и уверовал. Уверовал слабо, недостойно, но искренно.

С той поры я думаю, я верю, что благо тому государству, где преобладают эти "жрецы и воины" (епископы, духовные старцы и генералы меча), и горе тому обществу, в котором первенствуют "софист и ритор" (профессор и адвокат)… Первые придают форму жизни; они способствуют её охранению; они не допускают до расторжения во все стороны общественный материал; вторые по существу своего призвания наклонны способствовать этой гибели, этому плачевному всерасторжению…»

К. Леонтьев начинает изучать наследие славянофилов, но и в них не находит созвучия своим настроениям. Любя русское своеобразие, славянофилы, хотя некоторые из них сами были аристократами из старых семей, не ценили аристократического духа, были настроены зачастую народнически и либерально-уравнительно. Не восхищала их и милитаристская красота Империи. В Православии они искали всечеловечности, в Самодержавии – народности и разрыва аристократически-бюрократического средостения вокруг трона.

Эстетический консерватизм Леонтьева для всех сил петербургского общества был в тот момент (как и впоследствии) «слишком». И писатель становится дипломатом. В 1863 году он поступает на дипломатическую службу и уезжает секретарем русского консульства на Крит, греческий остров, находившийся в тот момент под владычеством Османской Империи.

Положение русских дипломатов в Османской Империи было весьма значительным – они были окружены ореолом пышности, власти и влияния. От них зависели судьбы огромного православного населения, находившегося под властью турок, и искавшего в русских дипломатах защитников. Борьба за русскую идею на Востоке становится в центр

деятельности Константина Николаевича – он, в частности, составляет проект находящихся под русским влиянием школ для образования греков, болгар, румын и прочих в русском духе.

Ему приходится постоянно противодействовать интригам иностранцев, а однажды, когда французский консул на Крите Дерше оскорбительно высказался при нём о России, Леонтьев ударил его хлыстом. Впрочем, его карьеру эта патриотическая дерзость не подкосила – с Крита его переводят в Адрианополь, оттуда вице-консулом в Тульчу, где большую роль играли переселившиеся из России старообрядцы-липоване, потом вице-консулом в албанскую Янину. Вершиной дипломатической карьеры К. Леонтьева становится пост консула в Салониках.

«В этой службе было тогда столько простора личной воле, личному выбору добра и зла, столько доверия со стороны национальной нашей русской власти! Столько простора самоуправству и вдохновению», – восхищался Константин Николаевич. Он, наконец, обрел то, о чём мечтал – яркость жизни, ощущение силы, власти, превосходства, осмысленность действия и негу восточной роскоши.

Восток, оказавшийся гораздо разнообразней, поэтичней, пестрее и Запада, и опетербурженной России, пленил К. Леонтьева. Его ум так навсегда и остался заворожен восторженным ориентализмом. Открыв для себя Византию и византизм через взаимодействие с греческой церковью, он, однако, воображал себе Византию чем-то наподобие Османской Империи, только православной.

Напротив, на Востоке Леонтьев изрядно невзлюбил «братьев-славян» и их национализм. Он осознал, что мечта славянофилов-панславистов о том, что «славянские ручьи сольются в русском море» неосуществима. Образованный болгарин, получивший образование во французской школе, напялив фрак, немедленно начинал с презрением смотреть на Православие, на своих «диких» родителей, мечтать

о европейских газетах и конституциях, а Россию если и уважал, то как сильную славянскую европейскую державу, которую можно использовать в своих интересах, а не как Третий Рим.

Леонтьев начинает даже ценить Османскую Империю и не одобряет попыток к скорейшему «освобождению» братьев-славян, так как ничего, кроме европеизации и русофобии (ибо Россия более не надобна), им это не принесет: «Без турецкого презервативного колпака разрушительное действие либерального европеизма станет сильнее».

«При образовании того оборонительного союза государств, о котором я выше говорил, непременно выработается у юго-западных славян такая мысль, что крайнее государственное всеславянство может быть куплено только ослаблением русского единого государства, причем племена, более нас молодые, должны занять первенствующее место не только благодаря своей молодой нетерпимости, своей подавленной жажде жить и властвовать… Образование одного сплошного и всеславянского государства было бы началом падения Царства Русского. Слияние Славян в одно государство было бы кануном разложения России. “Русское море” иссякло бы от слияния в нем “славянских ручьев”, – опасался К. Леонтьев.

Дипломатическую карьеру Леонтьева прерывает чудесное обращение к вере. В 1871 году консул, находясь в охваченной холерой области, внезапно заболевает. Было ли это действительно смертоносное заболевание или сильное расстройство, похожее на него, но Константин Николаевич в лихорадке и слабости был абсолютно уверен в том, что приходит так рано его смертный час.

Глядя на икону Божией Матери, только что подаренную русскими купцами и беззаботно повешенную на стену, он сперва кричит ей в исступлении и бреду: «Рано, матушка, рано! Ошиблась. Я бы мог ещё много сделать в жизни», а потом вспоминает детские молитвы и начинает умолять

Богородицу спасти его и принять монашество, если ему будет дарована жизнь. И почти в ту же минуту он вспоминает, что при себе у него опийная настойка – безальтернативный «антибиотик» той эпохи. С безошибочной точностью врача выбрав дозировку, Леонтьев засыпает и просыпается совершенно здоровым, навсегда уверенный, что призван к новой жизни чудом.

«Мне недоставало тогда сильного горя; не было и тени смирения, я верил в себя. Я был тогда гораздо счастливее, чем в юности, и потому я был крайне самодоволен. С [18]69 года внезапно начался перелом; удар следовал за ударом. Я впервые ясно почувствовал над собою какую-то высшую десницу и захотел этой деснице подчиниться и в ней найти опору от жесточайшей внутренней бури; я искал только формы общения с Богом. Естественнее всего было подчиниться в православной форме. Я поехал на Афон, чтобы попытаться стать настоящим православным; чтобы меня строгие монахи научили веровать. Я согласен был им подчиниться умом и волей. Между тем удары извне сами по себе продолжались всё более и более сильные; почва душевная была готова, и пришла, наконец, неожиданная минута, когда я, до тех пор вообще смелый, почувствовал незнакомый мне дотоле ужас, а не просто страх. Этот ужас был в одно и то же время и духовный и телесный; одновременно и ужас греха, и ужас смерти. А до этой минуты я ни того, ни другого сильно не чувствовал. Черта заветная была пройдена. Я стал бояться Бога и Церкви. С течением времени физический страх опять прошел, духовный же остался и всё вырастал», – так описывал К. Леонтьев новый произошедший с ним душевный поворот.

Многие исследователи, одни с недоумением, другие с напористым осуждением, подчеркивали это характерное для Леонтьева после обращения *богословие страха*, которое заменяло у него более привычное для русского Православия богословие любви. Мотив Страха Божия у Леонтьева действительно центральный. И он, конечно же, не случаен –

эстет и сластолюбец К. Леонтьев нуждался в страхе перед гневом Божьим как в крепкой узде.

«По его рассуждению, только Бог может устанавливать нравственный закон. Бога нельзя не послушаться и по страху перед Ним, и по нравственному перед Ним преклонению. Если же Бога нет, – можно делать что угодно. Нравственный "категорический императив" вытекает только из божественной сферы. Страшен только грех, а если нет Бога, то и грех не страшен», – вспоминал друживший с Леонтьевым в последние годы жизни Лев Тихомиров.

Этот имморализм, сдерживаемый лишь страхом перед Богом, может шокировать. Но он был очень искренен. У современного обуржуазившегося и «гуманизированного» человека «богословие любви» слишком часто превращается в *богословие любви к себе*. Мысль о Божественном прощении вытесняется услужливой готовностью простить самого себя, Бога, на самом-то деле, и не спрашивая.

Леонтьев не видел для себя большинства человеческих нравственных границ (кроме границы между благородством и презираемым им «хамством»), но граница, выставленная Богом, была для него действительно абсолютной. Для многих других же существуют границы человеческой морали, но все они оказываются отменяемыми по принципу: «если нельзя, но очень хочется, то можно» (и снисходительность к этому приписывается Богу).

Совершенная любовь выше страха, но настоящий дисциплинирующий страх – выше мнимой разлагающей душу «любви» к самому себе и своим грехам. К. Леонтьева, скорее, можно было упрекнуть в том, что он до конца жизни так и не избавился от эстетской самовлюбленности. Но тем важнее был благоприобретенный им Страх Божий.

Во всевластии русского консула К. Леонтьев отправляется на Афон, приезжает в знаменитый Свято-Пантелеимонов монастырь – «Руссик». Придя в келью к знаменитому старцу отцу Иерониму, он просит постричь его в монахи, но признается,

что в Бога толком не верит. Старец, разумеется, отказывает в такой странной просьбе, но берет на себя роль «катехизатора» Константина Николаевича, наставляя его в основах православной веры и правилах христианской жизни.

Год К. Леонтьев проводит на Афоне. Затем, выйдя в отставку, два года он живет в Константинополе и на острове Халки в Мраморном море. Именно здесь он создает трактат, обессмертивший его имя – «Византизм и славянство». Эта работа проникнута в одинаковой степени логикой большого философа и беспощадной точностью наблюдений практического дипломата, реально видевшего вблизи бесплодность увлекавших русскую публику миражей «всеславянства».

Основная мысль трактата – уже раньше установившееся у Леонтьева отвращение к мещанству: «Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский или немецкий, или русский буржуа в безобразной, комической своей одежде благодушествовал бы “индивидуально” и “коллективно” на развалинах всего этого прошлого величия?.. Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки!».

К. Леонтьев усматривает в исторической жизни народов природный закон «триединого процесса». Всякое жизненное явление сперва просто, затем оно, развиваясь, усложняется, обогащается, пока не достигает *цветущей сложности*, и, наконец, поддается старению и разложению, «вторичному упрощению» и умирает. «Все яблоки незрелые зелены и кислы; в период зрелости их вкус и вид разнообразны. Когда они начинают падать и гнить, они опять становятся сходны».

Нынешнее обуржуазивание, слияние и всесмешение Европы, формирование европейского «среднего человека», которого Леонтьев позднее назовет «идеалом и орудием всемирного разрушения» – это признак перехода Европы ко вторичному упрощению. Если Россия не хочет вслед за Западом двигаться к духовной и культурной смерти, ей следует оторваться от Европы, развивать своеобразие своих исторических начал, укреплять свой самобытный культурно-исторический тип (принимая выражение Н.Я. Данилевского, чей трактат «Россия и Европа» оказал на К.Н. Леонтьева большое влияние, хотя в целом мысль отставного дипломата была вполне самостоятельна).

История – это процесс приобретения тем или иным явлением – государством, народом, цивилизацией, богатой, сложной, разнообразной, предельно индивидуальной формы.

«Форма вообще есть выражение идеи, заключенной в материи (содержании). Она есть отрицательный момент явления, материя – положительный. В каком это смысле? Материя, например, данная нам, есть стекло, форма явления – стакан, цилиндрический сосуд, полый внутри; там, где кончается стекло, там, где его уже нет, начинается воздух вокруг или жидкость внутри сосуда; дальше материя стекла не может идти, не смеет, если хочет остаться верна основной идее своего полого цилиндра, если не хочет перестать быть стаканом. *Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающий материи разбегаться.* Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет».

Такой формой, которая не дает разбегаться русской «материи», Леонтьев считает византизм, как ту печать своеобразия, которая отличает именно русскую цивилизацию от общеславянского племенного набора, как тот знак качества, который делает русское выше славянского и дает России право спорить и состязаться с Европой на равных.

«Представляя себе мысленно всеславизм, мы получаем только какое-то аморфическое, стихийное, неорганизованное

представление… Представляя себе мысленно византизм, мы, напротив того, видим перед собою как бы строгий, ясный план обширного и поместительного здания. Мы знаем, например, что византизм в государстве значит – самодержавие. В религии он значит христианство с определенными чертами, отличающими его от западных церквей, от ересей и расколов. В нравственном мире мы знаем, что византийский идеал не имеет того высокого и во многих случаях крайне преувеличенного понятия о земной личности человеческой, которое внесено в историю германским феодализмом; знаем наклонность византийского нравственного идеала к разочарованию во всем земном, в счастье, в устойчивости нашей собственной чистоты, в способности нашей к полному нравственному совершенству здесь, до́лу. Знаем, что византизм (как и вообще христианство) отвергает всякую надежду на всеобщее благоденствие народов; что он есть сильнейшая антитеза идее всечеловечества в смысле земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства. Византизм дает также весьма ясные представления и в области художественной или вообще эстетической: моды, обычаи, вкусы, одежду, зодчество, утварь – всё это легко себе вообразить несколько более или несколько менее византийским».

Россия, на взгляд Леонтьева, усвоенный им, как он сам подчеркивает, от умных греков-русофилов, «чисто славянской державой никогда не была… её западные и восточные владения, расширяя и обогащая её культурный дух и её государственную жизнь, стеснили её славизм разными путями, которые людям, знакомым с русской историей, известны недурно теперь и которые станут ещё понятнее и известнее по мере большей разработки русской истории».

Любопытно, что первым провозгласил тезис о том, что Россия в силу своего уникального исторического пути выше и шире славянства, был не К. Леонтьев, а министр просвещения Николая I граф С. Уваров. В 1847 году, столкнувшись

с распространением в русской студенческой среде панславизма, ведшего, в частности, к украинскому сепаратизму, Уваров составил специальный полемический циркуляр.

«Русское славянство в чистоте своей должно выражать безусловную приверженность к Православию и Самодержавию; но всё, что выходит из этих пределов, есть примесь чуждых понятий, игра фантазии или личина…

Все славянские государства были в своё время славны и могущественны, и все, как бы по очереди, пали… Этим славянам, утратившим значение своё, свойственно с сожалением вспоминать славное прошедшее. Но Россия, по воле Провидения, выдержала удары судеб и приобрела самобытность, претерпев многоразличные, долговременные бедствия, внутренние и внешние, она одна возносится над могилами единородных государств и своею собственною личностью представляет беспримерную историю по необъятности владений, многочисленности обитателей и по могуществу народного духа, благоговейно преданная своей вере, своему Государю, сохранившая свой язык, знамение народного ума, народных доблестей, народного чувства. Тогда как прочие славянские народы в изнеможении своём от чуждого владычества ещё гордятся общим славянским происхождением, Россия, не помрачившая славы предков, славна своими народными доблестями, славна и прошедшим, и настоящим…

Святая Русь бедствовала и страдала одна, одна проливала кровь свою за престол и веру, одна подвигалась твердым и быстрым шагом на поприще гражданского своего развития; одна ополчилась против двадцати народов, вторгнувшихся в её пределы с огнем и мечом в руках. Всё, что имеем мы на Руси, принадлежит нам одним, без участия других славянских народов…»

Не трудно узнать в уваровском циркуляре последующую логику Леонтьева. Не исключено, что этот циркуляр так или иначе стал известен Константину Николаевичу и повлиял на его собственные идеи. От иных славянских народов Русь

отграничило либо Православие, принятое от Византии, либо успешное и могущественное Самодержавие, павшее у иных православных народов, но создавшее из России великую империю.

«С какой бы стороны мы ни взглянули на великорусскую жизнь и государство, мы увидим, что византизм, т. е. Церковь и Царь, прямо или косвенно, но, во всяком случае, глубоко проникают в самые недра нашего общественного организма. Сила наша, дисциплина, история просвещения, поэзия, одним словом, всё живое у нас сопряжено органически с родовой монархией нашей, освященной православием, которого мы естественные наследники и представители во вселенной. Византизм организовал нас, система византийских идей создала величие наше, сопрягаясь с нашими патриархальными, простыми началами, с нашим, ещё старым и грубым вначале, славянским материалом. Изменяя, даже в тайных помыслах наших, этому византизму, мы погубим Россию», – рассуждал Константин Николаевич.

Именно византизм, по Леонтьеву, составляет саму сущность великорусизма и основание русского цивилизационного суверенитета.

«Византийские идеи и чувства сплотили в одно тело полудикую Русь. Византизм дал нам силу перенести татарский погром и долгое данничество. Византийский образ Спаса осенял на великокняжеском знамени верующие войска Дмитрия на том бранном поле, где мы впервые показали татарам, что Русь Московская уже не прежняя раздробленная, растерзанная Русь!

Византизм дал нам всю силу нашу в борьбе с Польшей, со шведами, с Францией и с Турцией. Под его знаменем, если мы будем ему верны, мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и целой интернациональной Европы…

Что, как не православие, скрепило нас с Малороссией? Остальное всё у малороссов, в преданиях, в воспитании историческом, было вовсе иное, на Московию мало похожее…

Византийский дух, византийские начала и влияния, как сложная ткань нервной системы, проникают насквозь весь великорусский общественный организм».

Именно К. Леонтьев сумел действительно укрепить русские притязания на Константинополь, который был чрезвычайно важным для русской геополитики, но напрямую, через «право народов», обосновать притязания было невозможно, поскольку русские в Константинополе не жили. И вот идея византийского наследия приводит (в идее К. Леонтьева) Россию к власти над Царьградом и проливами с подлинной исторической принудительностью. Россия – это настоящее Византии, а Византия – это прошлая Россия.

К. Леонтьева, впрочем, беспокоило, как бы победоносная Россия в 1878 году не принесла на берега Босфора всеевропейскую пошлость: «Царьград будет скоро, очень скоро наш, но что принесем мы туда? Можно от стыда закрыть лицо руками… Речи Александрова [модный адвокат, защитник террористки Засулич], поэзию Некрасова, семиэтажные дома, европейские (мещанской, буржуазной моды) кэпи! Господство капитала и реальную науку, панталоны, деревянные крахмальные рубашки, сюртуки. Карикатура, карикатура! О холопство ума и вкуса, о позор! Либерализм!» В итоге Константин Николаевич беспокоился напрасно – Великобритания не дала России взять Константинополь, а всеевропейскую пошлость принесли в неё сами турки, реформированные М.К. Ататюрком.

Леонтьевский план на устроение русского Царьграда был совсем иной: «Царьград не может стать административной столицей для Российской Империи, подобно Петербургу. Он не должен даже быть связан с Россией в той форме, которая зовется в руководствах международного права *union réelle* [полным слиянием], т.е. он не должен быть частью или провинцией Российской Империи. Великий мировой центр этот с прилегающими округами Фракии и Малой Азии (напр., до Адрианополя включительно и вплоть до наших

теперешних границ около Карса) должен лично принадлежать Государю Императору; т.е. вся эта Цареградская или Византийская область должна под каким-нибудь приличным названием состоять в так называемом *union personelle* [личная уния]».

Был ли этот план исполним? Личные унии с Польшей или Финляндией добра России не принесли.

Мы можем спорить с провозглашенной Леонтьевым идеологией по частностям, но несомненно, что её центр составил одну из важнейших страниц в книге Русской Идеи.

1. Русское бесконечно важнее славизма, европеизма и т.д. Беречь надо именно русское начало, а не какую-то обобщающую нас с кем-то утопию.

2. Центр русского – это своеобычный культурно-цивилизационный тип. Та особость, которая делает нас иными относительно всего в жизни, мышлении, творчестве, государственном и военном строе.

3. Основа этого своеобычного типа – Православие-византизм и Самодержавие, а, стало быть, историческая русская государственность. Без этих определяющих нас начал русская народность, конечно, теряется и сереет. Без созданного русскими всепространнейшего государства и укрепления за русскими числом и подвигами самой возвышенной из религиозных вер, наша историческая уникальность была бы слишком не уникальна.

4. Задача русской политики – укрепление этого своеобычая, воспитание в каждом сверху до низу этого особого строя. Это то, чем жертвовать нельзя и что должно противостоять всеобщему уравнению и всесмешению.

5. «Русские – главные представители православия во вселенной», – подчеркивает Леонтьев. А так как Православие – это истина, то русское во вселенной есть истинное, если только не отступает от Православия. И русскому человеку надлежит дать воплощать эту истинность во вселенной как можно полнее – и в культурном, и в политическом, и в жизненном смысле.

Мы не имеем ничего против вселенскости, поскольку вселенная это мы.

Но, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя соглашаться с утверждениями, что Православие состоит в подавлении русской жизни, в непрерывном жертвовании ею ради каких-то мнимых высших требований, во что Леонтьев порой уклонялся (впрочем, не слишком сильно). Напротив, вселенское призвание русских к осуществлению истины только выиграет от максимального расцвета русской жизни, поскольку таковая жизнь в своём ядре является воплощением этой истины и осуществлением этого призвания.

Русская жизнь, осуществляясь, осуществляет в себе благодатный христианский идеал. Напротив, умаляясь, умаляется она до чего-то филистерского, чужеродного, одностороннего и пошлого. Поэтому расцвет русской своеобычной жизни – это расцвет истины, умаление же этой жизни, это умаление и проявленности этой истины.

В 1874 году К. Леонтьев возвращается в Россию, селится в своем калужском имении, и становится постоянным посетителем Оптиной Пу́стыни, где его духовным руководителем становится старец преподобный Амвросий Оптинский, а идейным собеседником отец Климент (Зедергольм). Попытка Леонтьева поступить послушником в Николо-Угрешский монастырь не удается – братия была с ним слишком нечутка и груба.

Только в 1879 году он находит себе место. В его распоряжение ненадолго отдается газета «Варшавский дневник», которая усилиями Леонтьева быстро становится одним из ведущих консервативных изданий России. С 1880 года К. Леонтьев – сотрудник Московского цензурного комитета, куда ему помог устроиться его единомышленник, влиятельный чиновник Тертий Иванович Филиппов.

На посту цензора Леонтьев был строг, но справедлив, весьма остроумно пресекая попытки подрыва государства под видом борьбы с коррупцией (Как бы нам это сейчас

пригодилось!). Вот как рассказывает Л. А. Тихомиров: «В повести какого-то либерального беллетриста, отданной на рассмотрение Леонтьева, одно из действующих лиц в разговоре с другим выражало сентенциозное замечание: “И генералы берут взятки”. Леонтьев подумал и вместо “генералы” поставил “либералы”: “И либералы берут взятки”… Автор в ужасе прибегает к нему и начинает горячее объяснение. “Что же такого нецензурного находит он в этой фразе, и разве не случается, чтобы генералы брали взятки?” – Леонтьев отвечает: “А разве не случается, что и либералы брали взятки?” – “Но ведь у меня речь идет вовсе не о либералах, а о генералах”. – “А я, – отвечает цензор, – не могу разрешить таких нареканий на столь высокие чины”. Автор, и совершенно справедливо, начинает ему доказывать, что фраза в такой переделке делается совершенно бессмысленной, потому что никакого либерала в повести нет. Леонтьев стоит на своём. Сторговались, наконец, на том, что совсем выбросили злополучную фразу: не осталось ни генерала, ни либерала».

Царствование венценосного славянофила императора Александра III составляет в некотором смысле золотую осень жизни Константина Николаевича. Ошибаются те исследователи, которые говорят о его невостребованности, непонятости и одиночестве.

Выходят его литературные, критические и философски-полемические сочинения. К. Н. Леонтьев полемизирует с философом П. Е. Астафьевым о национализме, врагом которого всё больше становился, усматривая в нём тот же уравнительный общеевропейский дух «национал-демократии» в противоположность сословно-имперскому разнообразному общественному строению. Полемизирует он и с недавним другом Владимиром Соловьевым, начавшим страстно нападать на Средневековье и сближать христианство с прогрессивным гуманизмом.

В 1887 году пророчества К. Леонтьева о разочарованиях, которые ждут Россию на пути панславизма, воплотились

в скандальный разрыв России и Болгарии. Книга К. Леонтьева «Восток, Россия и славянство» (1885–1886 гг.), включавшая в себя статью «Византизм и славянство», заранее истолковывала всё происшедшее, а потому удостоилась высочайшего одобрения императора Александра III.

«До тех пор не признаваемый, отрицаемый и более всего игнорируемый родной страной, он теперь почувствовал как будто некоторое признание. О нём там-сям заговорили, стали искать знакомства с ним. В сущности, таких людей было очень немного, но на Константина Николаевича, по сравнению с прежним, и это производило впечатление… Константин Николаевич имел вид патриарха этого маленького круга националистов. Это его утешало и окрыляло надеждами; он начинал думать, что в России есть ещё над чем работать, и планы работ начинали роиться в его голове. Вообще, ему дано было провести конец жизни в относительно светлом настроении. Он мог думать, что он не изгой в своей родине, а первая ласточка той весны, которая изукрасит своими свежими цветами Россию, совсем было посеревшую в пыли своего национального самоотречения псевдоевропеизма».

Идеи позднего К. Леонтьева были достаточно оригинальны и, временами, жутковаты, вроде надежд на то, что русский царь возглавит мировое движение к социализму и остановит на социалистической принудительной основе новое колоритное крепостничество, которое укрепит основания православия и своеобразия русской культуры.

Как мы знаем, пророчество отчасти сбылось. Не царь, но восточный деспот, который, возможно, в чём-то приглянулся бы Леонтьеву своим диким разбойничьим колоритом, но, в целом, соответствовал его типажу хама, взял неслыханную полноту власти в России. Он установил кровавое крепостничество, которое, однако, было направлено против Православия (взорванные церкви, перебитое почти полностью к 1939 г. каноническое духовенство) и против своеобразия русской культуры, подменяемой соцреализмом

и агитпропом. Есть некоторые фантазии, о которых лучше даже не думать, чтобы они не стали явью.

На склоне жизни Леонтьев формулирует свою доктрину «эптастилизма», обозначая семь столбов новой культуры, которая должна воплотиться в грядущей консервативной утопии:

«I. – Сосредоточенное в Царьграде Православие…

II. – Принудительная организация собственности и труда… приостановка излишней подвижности экономической жизни, т.е. ограничение личной свободы и организация нового и прочного юридического неравенства; другими словами: – отнятие экономического движения из рук разрушителей. III. – Пессимизм в науке (отвержение демократического прогресса; уничтожение религии самодовлеющего, утилитарного человечества. – Проповедь – светоразрушения и его вовсе не так уж отдаленной неизбежности)…

IV. Великий Восточный Союз (Россия во главе; – Царьград центр; – славяне; греки; румыны; мадьяры; турки; персияне; индусы)…

V. Новая привилегированная – аристократия. – Размножение благословенного Царствующего рода Романовых… можно восстановить и браки с русскими дворянками (или даже ввести и браки с девицами различных союзных племен). Брать – даже можно русскую или греческую крестьянку – или полудикую жительницу Индии и Кавказа, если она пориста и сильна…

VI. – Отношение к сектам и др. верам. – Предпочитать вообще Веры и Секты мистико-пластические… религиям и сектам разрушительно-рационалистическим…

VII. – Эстетический аскетизм. – перемена одежды и обычаев, новые пляски… Предпочтение стеснительной и упражняющей роскоши, рациональному и всераспускающему комфорту… О Самодержавии я не упомянул, ибо оно есть

*condition sine qua non** – это ось всего движения, рычаг – срединный столп».

Из сегодняшнего дня – многие из проектов Леонтьева совершенно абсурдны В Константинополе сидит главный раскольник и предатель Православия – фанариотский патриарх. И в свете его действий усилия Леонтьева по защите Фанарской иерархии от болгарского стремления к церковной независимости приходится оценивать пессимистично.

«Принудительную организацию собственности» Россия в XX веке видела и никакой крепости традиции от этого не проистекло. Организации всевозможных союзов, вовлечение различных «полудиких жительниц» и прочие плоды толерантности стали сегодня повседневностью.

В чём была непредусмотрительность Леонтьева, показанная событиями XX и, особенно, XXI века? Всю свою жизнь он боролся с духом упрощения и стандартизации, который нёс с собой буржуазный индустриализм. Одинаковая одежда, одинаковые люди, одинаковые европейские нации с одинаковыми конституциями, – он ненавидел это так страстно, что доходил до призывов к разрушению машин.

Однако наше время показало, что национально-индустриальная буржуазная стандартизация – не предел культурного распада. Таким пределом как раз является смешение разнородного, пресловутый мультикультурализм, где перемешиваются этносы, традиции, жизненные уклады, но только не упорядоченные строгой имперской иерархией, а перепутанные именно в предсмертном всесмешении и упрощении, когда нет уже никакой строгой формы, в том числе и одинаковой. И ни в коем случае нельзя, как это иногда у нас делают, путать цветущую сложность с этой пестротой радужной плесени.

Скорее всего, Леонтьев никогда бы не купился ни на чекистский «принудительный труд», ни на мультикультурное

* Непременное условие (лат.). – *Прим. ред.*

разнообразие и не захотел бы стать идеологом неосталинизма или многонационалии.

Напротив, в пророчествах Леонтьева содержалось предвидение возможности всеобщего мирового цивилизационного упадка, подобного тому, который совершился в наши дни. И милый его сердцу Восток и гниющий Запад сольются в общем цивилизационном упадке. А сумеет ли Россия вырваться из этих смертоносных объятий – совсем не очевидно.

«Из того, что отдельные европейские государства устарели – ещё не следует непременно, что идеи, вкусы, уставы и новейшие верования (эгалитарные и безбожные) не распространятся и на внутреннюю Азию и на Африку (Америка и Австралия – всё та же Европа).

Положим, эти новейшие идеи, привычки и верования – ложны, пошлы, даже гнусны… но разве торжествует на земле всегда то, что прекрасно или что нам кажется истиной… Очень может быть (даже можно сказать – наверное), что то культурное однообразие средних людей, к которому может прийти всё человечество, под влиянием эгалитарной и безбожной европейской цивилизации, ведет к безвыходной бездне тоски и отчаяния… Придется, вероятно, тогда вымирать или иначе гибнуть, ибо тоже возврата не будет! Но эта опасность – погубить вместе с собою человечество – никогда не остановит европейцев (по племени или только духу). Они будут верить, что в этом не только выгода их, но долг и высшее призвание.

Даже завоевание всей Европы (положим – китайскими монголами) не уничтожит непременно этой возможности всеобщего заражения. “Победители приняли нравы и обычаи побежденных”, – так учили ещё нас в детстве; я помню эту верную фразу; и примеров этому много…

Остается вопросом – будет ли ещё вообще какая-нибудь новая, прочная на 8–9–10 веков (как другие, прежние были), своеобразная цивилизация или нет?

И если будет – то славяне ли её разовьют? Или кто-нибудь другой… И, наконец, если славянство, руководимое Россией… и уклонится несколько в сторону – от общего русла, то насколько резко будет это уклонение?»

Не надежды на евразийский «интернационал» против Европы были сердцевиной леонтьевских воззрений, а надежда на то, что удастся в самой России развить оригинальное культурное творчество и своеобразие. Леонтьев был настоящим рыцарем русской самобытности.

«У нации с истинно культурным типом, – аргументированно рассуждает он, – и самая одежда, и самые обычаи должны быть оригинальны; моды, пляски, приличия, вся эта внешность должна быть более или менее своей. Это вернейший даже признак созревающей самобытности», – говорил он.

«Без мистики и пластики религиозной, без величавой и грозной государственности и без знати, блестящей и прочно устроенной, – какая же будет в жизни поэзия?» И призывал выдумать русским даже новые самобытные танцы.

Итак – быть самобытными, хранить верность устроившим нас византийским началам, разойтись с Европой, а если надо и со всем миром, поглощаемым западной ценностной и эстетической деградацией – таков главный завет Константина Леонтьева русской цивилизации.

Последние годы жизни Константин Николаевич провел в Оптиной Пу́стыни, снимая домик у ограды монастыря. Благословение исполнить обет пострига последовало от преподобного Амвросия только незадолго до смерти – и его собственной и Константина Николаевича. Во иночестве Константин Николаевич принимает имя Климент, в память о недавно почившем друге и наставнике отце Клименте (Зедергольме).

Последние месяцы жизни философ провел в Гефсиманском Скиту Троице-Сергиевой Лавры, куда переехал и где скончался от пневмонии (описанной им как пример

органического процесса в «Византизме и славянстве») 12(24) ноября 1891 года, в возрасте всего лишь 60 лет.

Он упокоился в Гефсиманском Скиту, а 28 лет спустя здесь же рядом будет похоронен его собеседник Василий Розанов. Их могилы в наше время были обретены и восстановлены и мы снова можем помолиться на них за упокой души двух мятущихся, грешных, парадоксальных, но великих и оригинальных творцов Русской Идеи.

Что читать о Константине Леонтьеве:

1) К.Н. Леонтьев: Pro et contra: личность и творчество К. Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей. В 2-х томах. Антология. – СПб: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995;

2) *Леонтьев, К.Н.* Полное собрание сочинений и писем. В 12 томах. – СПб: Владимир Даль, 2000–2021;

3) *Фетисенко, О.Л.* «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. – СПб: Издательство «Пушкинский дом», 2012;

4) *Хатунцев, С.В.* Константин Леонтьев: Интеллектуальная биография. 1850–1874 гг. – СПб: Алетейя, 2017.